



К. А. ТИМИРЯЗЕВ

Петербург и Москва

(Привет старожила — новой жизни) *

Приветствуя «Новую жизнь» с ее новосельем, невольно вызываешь в себе длинную вереницу мыслей, связанных с этим сочетанием двух слов Петербург—Москва, о которых столько писалось и говорилось и еще придется так много думать, писать и говорить.

Начинаю с того, что пишу «Петербург», а не «Петроград», потому что за 4 года ни разу не обмолвился этим постыдным словом. С той поры, как Ксеркс в исступлении приказал высечь море, разметавшее его корабли, кажется, ни один деспот не вымещал своей бессильной злобы в такой бессмысленной форме на бессловесном предмете, как это проделал Николай II над «Петербургом» **. Не пора ли давно стереть этот позорный след царского самодурства, встреченный тем не менее в свое время, особенно в Москве, с плохо, а иногда и вовсе нескрываемым удовольствием. Мне кажется, это не пустой спор о словах; под этим скрывается чувство более глубокое, о котором, к тому же, у людей существуют самые противоречивые понятия. Лет тридцать тому назад, на многочисленном собрании, где сошлись люди со всех концов России ***, был там и я, в качестве гостя из Москвы, мне привелось выступить с шутливым спичем на тему о «патриотизме». Я начал его с такого парадокса: «Если б я попытался вам доказать, что патриотизм — порок, никто, конечно, со мной не

* Статья, помещенная в первом номере московского издания «Новой жизни» ¹.

** Да еще, как сообщали своевременно газеты, по наущению немца Саблера ², который сам с перепуга отрекся от прозвища своих отцов.

*** На петербургском съезде естествоиспытателей и врачей в 1890 г., на обычном обеде (или на этот раз — ужине).

согласился бы и даже внутренне возмутились бы моему цинизму. Но если я стану отстаивать, что он — добродетель, то большинство присутствующих придет открыто или в глубине души к заключению, что он — порок. И вот, моя простая аргументация: я сам патриот; горячо, инстинктивно и сознательно люблю свою родину. Но моя родина — Петербург».

При этом на всех лицах складывается что-то вроде гримасы, потому что можно быть каким угодно патриотом — московским, или алеутским, но только не петербургским; эта возможность исключена, и вывод этот признается почти аксиомой. Мораль может быть тут одна: патриотизм — такая своеобразная добродетель, которую мы ценим высоко и даже превозносим в себе самих и ненавидим ее, и всячески боремся против нее в других. Сколько раз и с какой силой эти мысли возвращались ко мне за последние годы при чтении произведений ура-патриотов всех стран и на всех языках.

И, тем не менее, я патриот петербургский. Да, я родился буквально в двух шагах от той скалы, на которую взлетает «гигант на бронзовом коне» *, в самом начале той Галерной улицы, которую менее чем за два десятка лет перед тем залил кровью победитель 14 декабря своей картечью, косившей дрогнувшие ряды восставших — войска и народа **. Петербург, с самого начала

* Теперь, когда происходит переоценка ценностей — наших общественных памятников, быть может, не лишнее замолвить слово за один из них. Недавно один московский поэт свалил в общую кучу всех трех петербургских всадников³, будто бы не сознавая, что один из них был величайшим гением своего народа, а памятник ему и был, и остается гениальнейшим произведением в этом роде на всем свете, не исключая и Вероккиевского Коллеони. Меня всегда удивляло, что в Луврской коллекции произведений Фальконе нет хотя бы маленькой редукции или фотографии его шедевра. А вот отзыв о нем не художника и не поэта, а бесхитростного человека из народа, который мне привелось услышать. Через несколько дней после открытия памятника Николаю I я проезжал Мариинской площадью. Старик-извозчик долго, внимательно в него всматривался и, наконец, высказал свое суждение, явно ироническое. Желая испытать его эстетический вкус, я его спросил: «Ну, а тот, другой, там, на Исаакиевской?», и получил ответ: «Ну, тот статья иная; ночью даже жутко, — живой».

** Обыкновенно принято считать, что 14 декабря было чисто военным бунтом, в котором народ стоял в стороне, но мой отец, бывший очевидцем, рассказывал, как из-за окружавшего строившийся Исаакиевский собор забора народ бросал камнями в царские войска. А от моей матери, в то время молодой девушки, жившей у родственников в далекой от центра Коломне, я слышал рассказ, как во время

прошлого века, для меня или собственное переживание, или живое предание. И, тем не менее, я смею думать, что мой петербургский патриотизм не исключительно личного, субъективного происхождения, а берет начало из объективных фактов, по отношению которых не может быть двух мнений.

Во-первых, как старожил, проживший четверть с лишком века в Петербурге, и в Москве без малого уже полвека, я имел досуг их оценить как непосредственно, так и по сравнению; мало того, всю жизнь я пытался чувствовать себя не чужим не только на Неве и на Москве-реке, на Волхове и Волге, но и на Некаре и Роне, на Сене, Темзе, Айзисе и Каме*. А с объективной точки зрения, кто сможет отрицать, что уже третий век Петербург неуклонно исполняет свою роль «окна в Европу», что он сыграл совершенно исключительную роль в нашем «возрождении», особенно научном, так называемых шестидесятих годов**; и, наконец, что можно возразить против ряда красноречивых дат, определяющих его роль в исторических судьбах всей страны. Эти даты: 14 декабря, 19 февраля, 9 января, 17 октября, 27 февраля и, наконец, 25 октября. Где тот город, который привел бы столько же и таких дней, всего на протяжении одного столетия?

Исход в Москву из Петербурга, конечно, вызван не отрицанием его роли; этот исход нельзя считать чем-то вроде попятного движения «назад, домой», как некогда Иван Аксаков приглашал в Москву Александра III, этого последнего могучего богатыря, вообразившего, что, если он может гнуть подковы (чем он гордился), то сумеет перегнуть и Россию и повернуть колесо истории***. Нет, кружок людей, идущих навстречу новой жизни,

их обеда влетевший, как ураган, лакей, поставив в спеху блюдо на стол, крикнул: «Ну, далее распорядитесь сами, весь народ бежит на Исаакиевскую площадь, Николай бунтует, да мы ему не позволим». А какое настроение тлело под крышами, правда, очень немногих петербургских домов во все время торжества принципов «самодержавия, православия и народности», можно судить из следующего семейного предания. В 1848 году к отцу один собеседник пристал с вопросом: «Какую карьеру готовите вы своим четырем сыновьям?» Отец отшучивался, но когда тот не отставал, ответил: «Какую карьеру? А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими — на Зимний дворец».

* Реки Оксфорда и Кембриджа.

** См. мою статью «Возрождение наук в третьей четверти века» (XIX) в истории России XIX века, издание бр. Гранат.

*** Может быть, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что Репинский «Грозный» был ответом на это приглашение «назад — домой», он будто говорил: идите-идите — вот до чего дойдете.

приходит к нам сюда не затем, чтобы увеличить хор «государственно мыслящих людей», верных заветам своих мыслителей Катковых, Победоносцевых и Милюковых и так быстро завершивших полный круг своей ориентации: от Николая (или Михаила) и войны до конца, на костях Вильгельма — через Корнилова — до гетмана-предателя и им командующего Вильгельмовского лейтенанта. И уж, конечно, не затем, чтобы приветствовать «интронизацию» патриарха, в той надежде, что к нему не замедлит присоединиться царь, без чего была бы невозможна задуманная реставрация символического торжества старой Москвы, от которого так вовремя освободил Россию Петр, положив конец двоевластию двух царей. В этом торжестве, как известно, фигурируют патриарх, осел и царь — царь насилия, взнуздавший осла, чтобы его мог оседлать царь мрака. А кто осел, на то дал давно ответ известный итальянский социалистический журнал «L'Asino»: *l'Asino e il Popolo utile, paziente, laborioso e bastonato* *.

Нет, не «назад — домой», не в старую Москву приходят петербуржцы.

Старая Москва! Сколько раз, во мраке безвременья, стоял я на Красной площади и говорил себе: вот здесь, направо, за зубчатой стеной, Москва — великокняжеская и царская, Москва — Калиты, не собиравшая, а обиравшая всю Русь под защитой ханских баскаков, — а там, налево, за символическими торговыми рядами свили свое гнездо толстосумы — калиты новой формации, обирающие Россию под «покровительством» императорских чиновников Петербурга. И только на склоне лет привелось мне увидеть на этой Красной площади уже третью Москву — не стяжания, а труда под сенью ее красных стягов. Привет этой молодой Москве, привет, если не старому, то старшему, в поднятой им борьбе, трудовому красному Петербургу. Он остался верен примеру своего основателя Петра. Вечная память «вечному работнику на троне», но долой трон — шире дорогу работнику **.

* Осел — это народ полезный, терпеливый, трудолюбивый и за то избиваемый палкой.

** Я уверен, что мне с самых различных сторон вменяют в преступление эти подсказанные моим петербургским патриотизмом постоянные возвращения к Петру. Я знаю, что с легкой руки Милюкова, к Петру принято относиться с некоторым поспехом, но могу сослаться и на более веского сторонника. Когда В. О. Ключевский стал приближаться к эпохе Петра, я, зная его общее настроение, при встрече повторял: «В. О., не обидьте Петра», — а он неизменно со смехом отвечал: — «Не обижу, будьте спокойны, не обижу». И когда он мне, уже больному, прислал свой 4-й том, я прочел этот конечный вывод:

И пусть обе развенчанные столицы забудут свои вековые распри о первенстве и первородстве и, минуя императорскую, царскую и великокняжескую Русь, примкнут в качестве первых свободных городов непосредственно к своим, хотя и не безгрешным, предкам — северным народоправствам, и дружно примутся за необъятную работу создания новой жизни на обломках, оставленных им в удел безумною, преступною войной.

Говорят, восходящее солнце отражается в малейшей капле утренней росы; пусть и этот, хотя сам в себе маловажный пример сотрудничества Петербурга и Москвы отразит в себе зарю новой жизни, жизни — *мира* и свободного, но тем более упорного, производительного и просвещенного труда.

Пора кончать это слишком длинное письмо в редакцию; хотел сказать два слова привета, а на правах старожила завяз в старческой болтовне о старом Петербурге и молодой Москве.

1920



с Петром мирятся «как с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева». Если вспомним, что другой историк не без успеха сравнивает Петра с французской революцией, то не придем ли к заключению, что нам нужны именно такие революционеры, которые могут не только рушить старое, но помогать всходить молодому, а главное, умеют и хотят работать, а не саботировать.